

«НОВЫЙ» РУССКИЙ ВОКАТИВ: ИСТОРИЯ ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОРПУСА ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ

М. А. Даниэль

Одной из ярких инноваций современного русского языка по сравнению с относительно недавними периодами его истории (письменным языком девятнадцатого века) является усеченная форма обращения в первом склонении существительных с личной референцией (также «новый вокатив», «truncated vocative» и др. термины).

- (1) *1 ноября в Доме Культуры имени Тургенева в 18.00 состоится празднование 35-летия нашей школы, встреча выпускников и заодно, видимо, празднование 52 Дня Рождения нашей глубокоуважаемой Людмилы Петровны. Вечер обещает быть интересным, собираюсь туда пойти. Я обязательно напишу тебе о том, что там было. Да, **Варь**, ты получила мое письмо с поздравлениями? Если, да, то мне тоже напиши, хотя пиши, конечно, в любом случае, ты же знаешь, что я всегда с нетерпением жду от тебя весточки! PS. Да, у меня три новые ученицы, одна из них безумно смешная, ей 12 лет. [Письмо молодой женщины подруге (2002)]*

Первые из известных нам упоминаний об усеченном обращении в литературе относятся к 1920-м годам (Дурново 1924, ч. 2 §392; Obnorskij 1925); ср. также позднейшие обсуждения в (Зализняк 1992/2002), а также (Comrie et al. 1996: 132), где содержится обзор более современных источников.

Эта инновация интересна по нескольким причинам. Во-первых, в ней можно усматривать следы постепенной грамматикализации феномена, который исходно носил, возможно, не сегментный, а супraseгментный характер. Во-вторых, ограничения на образование этой формы сочетают в себе фонотактические и прагматические признаки, что отнюдь не тривиально. Наконец, трудно четко функционально отделить усеченное обращение от обращения в именительном падеже: кажется, что никаких контекстов, где обращение грамматически обязательно выражается именно усеченной формой, не существует.

Как будет показано ниже, эти проблемы, на первый взгляд очень разнородные, могут быть нетривиальным образом связаны между собой, причем прийти к этому выводу позволяет корпусное исследование усеченной формы обращения в письменных текстах. Важным моментом в понимании места усеченного обращения в письменном языке является, как нам кажется, специфический по отношению к устному прототипу статус этой формы в письменной речи. И дело здесь не только в том, что Корпус открывает возможности для сравнения реального узуса неноминативных обращений в устной речи с разной степени удаленности от прототипа художественными ее имитациями — интересный вопрос, которого мы не будем касаться. Мы сосредоточимся на другой предоставляемой Корпусом возможности — изучим историю появления усеченного обращения и динамику его распространения в письменных текстах.

Прямое исследование фонетической и интонационной истории усеченного обращения по письменным текстам — как в Корпусе, так и за его пределами — невозможно. Усеченная форма или есть, или ее нет¹, и никаких сведений о характерной для нее интонации обращения и других ее фонетических свойствах из письменных текстов мы не почерпнем. Однако, опираясь на анализ Корпуса и письменного узуса нового вокатива, с одной стороны, и на характерные черты усеченного обращения в современном языке, с другой, мы все же можем получить косвенные данные, которые позволят сформулировать некоторые гипотезы об эволюции этой формы. Но для этого нам придется начать с обсуждения морфологической интерпретации этой формы и существенных для этой интерпретации морфологических фактов.

Лексические ограничения

Хорошо известно, что звательный падеж с усечением характерен для личных имен собственных и терминов родства первого склонения, причем в первую очередь для тех из них, в которых в форме именительного падежа единственного числа ударение падает на предпоследний слог (*nána*, *Cáша*, но не *náпочка*, *Cáшенька*)². Большинство носителей признают возможной усеченную звательную форму от имен с уменьшительным суффиксом (*Сашк*), для других такие формы (равно как и вообще усеченные вокативы с консонантным кластером в конце) затруднены или по крайней мере не являются вполне равноценными формам типа *Саиш*. Нельзя исключить, что известную роль здесь играет «зрительная освоенность» — эти фор-

¹ Как мёд.

² Отметим, что практически все термины родства и имена собственные первого склонения имеют ударный предпоследний слог. Немногие исключения — *надчерица*, *мачеха* — действительно не образуют усеченных форм, но это может быть связано с нехарактерностью для них позиции обращения — см. ниже.

мы выглядят несколько менее привычно или периферийно, отчасти создавая эффект орфографической передачи особенностей устной речи. В текстах Корпуса форм усеченного обращения с конечным кластером в несколько раз меньше, да и появляются они несколько позже, чем формы без кластера — у Горького, Неверова, Платонова; впрочем, временная разница между первыми примерами тех и других форм не так велика, чтобы считать ее достаточно надежным свидетельством более позднего их появления. С. П. Обнорский (1925) характеризует оба типа форм, и с кластером, и без, как равно характерные для русских диалектов.

Расширение звательной формы до слов с морфонологической структурой, существенно отличающейся от описанной выше (например, формы *бабушк* или *дедушк* с ударением на первом слоге, в отличие от хорошо представленных в Корпусе *бабуль*, *дедуль*) отвергаются значительной частью носителей — и отсутствуют в Корпусе. Положение ударения оказывается гораздо более жестким ограничением на способность к усечению, чем образование конечного кластера в усеченной форме.

Таким образом, существуют отчетливые ограничения морфонологического порядка, запрещающие или затрудняющие образование интересующей нас формы. С другой стороны, по крайней мере два имени существительных, которые удовлетворяют требованиям этой морфосинтаксической модели, но не являются ни именами собственными, ни терминами родства, вполне допускают образование звательной формы — это коллективные личные *pluralia tantum* *ребята* и *девчата*. Причем если форма *девчат* зафиксирована в Корпусе только в имитациях устной речи в письменном тексте (в Устном корпусе, что характерно, только в речи кино), то форма *ребят* довольно широко распространена в современной устной непубличной речи. Эта же форма присутствует в диалектных вариантах (Obnorskiĭ 1925): *рибят*, *робят*. (Интересно при этом, что форма *девчат* воспринимается как вполне имеющая право на существование — возможно, не в последнюю очередь это объясняется принадлежностью ее к прецедентным кинотекстам). Эта периферийная на первый взгляд деталь позволяет существенно уточнить первое, лексическое ограничение. Возможность образования формы нового вокатива определяется не принадлежностью к определенному лексическому классу, а тем общим, что есть у имен родства и личных имен собственных с лексемами *ребята* и *девчата*, — очевидно, их объединяет характерность употребления в позиции обращения.

Согласно (Zwicky 1974), способность того или иного имени выступать в позиции обращения не может быть напрямую выведена из его семантики, а является особым лексико-прагматическим маркером конкретной лексемы. Хотя Цвики анализирует английские данные, по существу его выводы легко переносятся на русский материал. Различие видно на примере близких по значению русских лексем *доктор* и *врач* (примеры, параллельные английским примерам Цвики), первая из которых является вполне конвенциональным обращением, в то время как для второй эта функция невозможна или затруднена и должна иметь мощные поддержи-

вающие прагматические факторы. Наличие такого прагматического маркера, имеющегося у всех имен родства и личных имен собственных как лексических классов в целом, а также у собирательной лексемы *ребята* как вполне конвенционализированного обращения, как раз и является основным лексическим (вернее, лексико-прагматическим) ограничением на образование нового вокатива. Это объясняет несколько комический эффект таких форм обращения, как *тещ* или *невест* — не будучи распространенными в роли обращения, эти лексемы, несмотря на принадлежность к терминам родства, образуют усеченные формы обращения с явной неохотой. Тот же фактор может (дополнительно к позиции ударения) объяснять отсутствие таких усечений, как *пáдчериц* и *мáчех*.

Использование имен родства для обращения к родственникам по нисходящей линии (в отличие от обратной ситуации) в целом нехарактерно для русского языка, за исключением сильно просторечных форм *доча*, *сына* (которые, по-видимому, неслучайно обнаруживают обратную стратегию маркирования — эти обращения образуются не усечением, а присоединением показателя)³. Поэтому невозможно усечение в обращении к дочери для лексемы *дочка*. Зато нисходящие термины родства широко используются в качестве обращений в контекстах, где они выражают социальные ранги (почти исключительно с уменьшительным суффиксом) — *вну-чок* или *внучек*, *сынок*, *дочка*. И именно в такой функции лексема *дочка* встречается в Корпусе в форме усеченного обращения:

- (2) *Какая-то бабка позвала жалобно с койки «Дочка, а дочк...» — она не обернулась, и потом долго эта бабка звала ее в снах, а она не оборачивалась... [Дина Рубина. Любка (1987)]*

У восходящих терминов родства (*тетя*, *дядя*, *дедуля*, *бабуля* и других, могущих маркировать социальные ранги и статусы коммуникантов) усечение возможно как в этой, смещенной функции, так и в прямых употреблениях в качестве терминов родства. Ср. также следующий пример с лексемой *няня*, отнести которую к терминам родства можно лишь с оговорками.

- (3) *У меня нянька была, — повернулся он к Волчихе, — вот ее спросишь: «Нянь, а ты тирожные любишь?» [Юрий Домбровский, Факультет ненужных вещей (1978)]*

Распространена усеченная форма от уменьшительно-ласкательных обращений (например, *кис* от *киса*, *сынуль* от *сынуля*); в Корпусе встречаются *дедуль*, нехарактерное для современного языка *дедунь* (у Островского) и особенно часто *бабуль*, как в прямой, так и в смещенной функциях, а также усеченные формы от уменьшительно-ласкательных форм имен собственных *Верунь*, *Виталь*.

³ Здесь может показаться спорным статус и функции формы *доча* и ее отношение к лексеме *дочь*. Но несмотря на то, что у этой формы действительно обнаруживаются номинативные употребления, а также собственная падежная парадигма (*дочи*, *дочу* и т. д.), в Корпусе явно превалирует использование в позиции обращения.

- (4) *Юра у меня программку взял, зачитывает: — «Музыка Возрождения, Антонио Вивальди. Концерт для двух скрипок, альты и виолончели». Слышь, Мишань, «Возрождение» — это как? — Я что, доктор? — говорю. — На Рождество ее играли, наверно.* [Михаил Мишин. Под музыку Вивальди (1985)]

Важно отметить тот факт, что усечению здесь подвергаются не обычные формы именительного падежа, а такие формы, которые уже специализированы на обращении и для которых аргументная позиция и другие падежные формы невозможны или, по крайней мере, гораздо менее характерны. Так, форма *Веруня* в позиции обращения встречается в Корпусе пять раз (еще семь раз с усечением), а в аргументной позиции — только один раз (и еще два раза в косвенных падежах).

Наконец, еще одним подтверждением являются примеры употребления усеченных форм кличек животных, для которых форма обращения едва ли не характернее всех других функций; несколько примеров находится у Юрия Коваль (Недопесок Наполеон, 1975) и в нескольких других текстах Корпуса, но особенно показателен следующий контекст из другой его повести, где снова фигурирует форма «Дочк», но уже в функции клички:

- (5) *Над полем собиралась грозовая туча, да как-то все не решалась плотно обхватить небо и колебалась над закатом. — Дочк, Дочк, Дочк... — слышалось с поля. По меже шел парнишка в ковбойке и покрикивал. — Телку потерял? — Овцу, — сказал он, подойдя.* [Юрий Коваль. Гроза над картофельным полем (1974)]
- (6) *Чонкин понял, что переговоры завершились неудачно, и снова перекинул винтовку через фюзеляж. Борька мешал ему, хватал зубами за полу шинели, тогда Чонкин левой рукой стал чесать ему бок, приговаривая «Боря-Борь-Борь-Борь». Держать винтовку одной рукой было неудобно, но зато Борька теперь не мешал, он тут же размяк, улегся в грязь и задрал ноги. Как все свиньи, он любил ласку.* [Владимир Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина (1969—1975)]

Более того, до какой-то степени допустимыми кажутся усеченные формы не только кличек, но и названий животных в позиции обращения, для которых эта функция более или менее характерна — особенно *псин*, также *собак*, менее естественно *кошк*, видимо, крайне маловероятно *коров*⁴ — впрочем, в Корпусе такие употребления отсутствуют, так что эти оценки остаются интроспективными.

Отметим, что, с другой стороны, инвективы («ты, сука, еще поплачешься») и параллельные им конструкции с положительной оценкой (пример 7) обнаруживают определенные черты сходства с обращениями в морфосинтаксическом плане, но обращениями по сути не являются и ни в коем случае не образуют усеченных форм.

⁴ Ср. ту же лексему в позиции обращения: «Что-то я тебя, корова, толком не пойму» из песни «Му-му» (авт. А. Френкель, Н. Эрдман и М. Вольпин, исп. Л. Утесов).

- (7) *Надежда Семеновна! Как можно жець Флобера? — Ах, душка, Головановы уже и до Толстого добрались, а их всего-то двое.* [Ирина Ратушинская. Одеситы (1998)]

Чрезвычайно интересно, что таким же образом ведет себя лексема *сестрица*. Она чрезвычайно распространена в синтаксической позиции обращения (несколько сот контекстов), полностью удовлетворяет всем фонотактическим условиям на образование нового вокатива и относится к прототипическому классу — терминам родства. Казалось бы, она должна легко подвергаться усечению. И тем не менее она ни разу не встретилась в Корпусе в усеченной форме, и это вполне соответствует, как кажется, языковой интуиции. В отличие от инвектив, это настоящее обращение; но с формами *сука* и *душка* ее объединяет то, что это обращение делает сильный акцент на субъективную оценку — более сильный, чем у других упоминавшихся выше терминов родства. Это наводит на мысль о том, что усеченные формы образуют не все обращения, а те из них, которые употребляются в том числе в контекстах привлечения внимания и окликах, вне дискурса, а не преимущественно во «внутридискурсивных» позициях, которые характерны для *сука*, *душка*, *сестрица*.

Итак, основным фактором возможности образования усеченной формы оказывается степень освоенности данной лексемы как обращения. Существуют и иные ограничения, имеющие лексические последствия, связанные уже с регистровыми факторами, но о них речь пойдет ниже.

Морфологическая интерпретация формы нового вокатива

Виноградов (1960: 127) называет усеченное обращение «усеченной, без флексии» формой, Шведова (Шведова и др. 1980: 165) также говорит об усечении флексии. Комри (Comrie et al. 1996: 132) называет ее сперва формой с нулевым окончанием, затем в том же абзаце «усеченным вокативом». Кажется, что эти формулировки если не смешивают, то не вполне эксплицитно различают две принципиально разные трактовки: нулевое окончание (аналогичное генитиву множественного числа в том же склонении) либо усечение. Последовательно решение об усечении проводится, например, в (Yadroff 1996). Дурново (1924, ч. 2 §392) говорит скорее о нулевой флексии; то же решение следует из обсуждения в (Панов 1997: 108—110).

Первое известное нам подробное обсуждение новой формы обращения содержится в (Obnorskiĭ 1925). В качестве одной из возможных интерпретаций рассматривается усечение формы именительного падежа; по свидетельству Обнорского, этой точки зрения придерживался и А. А. Шахматов⁵. В этом случае предполагает-

⁵ Это сдвигает начало научного анализа усеченного обращения как минимум еще на несколько лет назад, так как Шахматов умер в 1920 г. Скорее всего, речь идет о литографированном *Курсе истории русского языка, читанном в Петербургском университете*.

ся редукция до нуля конечного заударного гласного именительного падежа, являющаяся фонетическим «последствием сильного выдоха» («infolge einer starken Expiration») на ударном слоге. Эту интерпретацию поддерживает, в том числе, существование форм с редуцированным конечным гласным, промежуточных между полными и усеченными (*мама* > *мамъ* > *мам*), на которое он указывает. Однако сам Обнорский считает, что объяснять вокативное усечение заударной редукцией нельзя, так как редукция характерна только для южных диалектов, в то время как усеченное обращение отмечается как в южной, так и в северной диалектной зоне. (Нам данное возражение не представляется убедительным — усечение в обращении в качестве причины в любом случае предполагает особую звательную интонацию, так что несклонность северных диалектов к редукции не может исключать специальной редукции в контексте обращения.) В качестве альтернативного объяснения он предлагает считать, что речь идет об использовании в функции вокатива чистой основы, справедливо указывая, что типологически вокатив к ней тяготеет.

Таким образом, есть целых три решения: нулевое окончание, «внепарадигматическая» чистая основа и усечение формы именительного падежа. Отметим, что первые два решения очень близки между собой (возможно, Обнорский не различал их), но все же неидентичны.

На наш взгляд, уже тот факт, что формы нового вокатива характерны не для определенного словоизменительного типа, но для слов с определенной фонотактической структурой, говорит против теории нулевой флексии. Действительно, окончание *-а* в *ребята* не может быть формально отождествлено с окончанием именительного падежа первого склонения; объяснить наличие одного и того же нулевого маркера в разных типах склонения и числах во флективном языке непросто. С другой стороны, не все имена существительные первого склонения, даже одушевленные, легко образуют усеченное обращение, что также говорит против этой интерпретации. При этом соображение о нетипичном для флективного языка поведении парадигмы теорию чистой основы не исключает — можно говорить о том, что и лексема *ребята*, и лексема *papa* в функции обращения принимают форму чистой основы.

Однако есть и другие свидетельства. Во-первых, широко обсуждается вопрос о неоглушенном характере звонких согласных, попадающих в исход таких форм (Панов 1997, Князев 2004, Spencer, Otoguro 2005, Corbett 2008). В отличие от настоящих нулевых окончаний (*тетъ* GEN PL, *дуб* NOM SG и т. п.), по крайней мере у некоторых говорящих конечный согласный нового вокатива не является глухим (*дядь* VOC VS GEN PL). Во-вторых — и это свойство нового вокатива, в отличие от неоглушения, отражается в орфографии — в формах обращения личных имен не восстанавливается беглый гласный: *Саишк* vs *Саишек* (GEN PL). Таким образом, если это и нулевое окончание, то это некое «новое» нулевое окончание, морфонологическое поведение которого отличается от других нулевых окончаний русского склонения; именно это решение, по-видимому, имплицитно принимается М. В. Пановым в связи с проблемой неоглушения. Само по себе несовпадение с формой родительного

падежа множественного числа не могло бы еще служить основанием для решения о непадежном характере окончания: исторические процессы, обуславливавшие появление беглой гласной, отработали достаточно давно и не обязательно должны применяться к новым формам. Поэтому в принципе этот ноль можно понимать как некий новый ноль, лишенный морфонологических свойств своего старшего омонима. Но соображение о неоглушении противоречит и теории нулевой флексии, и теории чистой основы одновременно.

По совокупности наблюдаемых фактов кажется более привлекательным трактовать эти формы как усеченные. Форма нового вокатива является не особой падежной формой и даже не чистой основой (что характерно для вокативов типологически), а формой обращения с усеченной конечной гласной (ср. Yadroff 1996). Речь идет не просто об усечении исхода формы именительного падежа, а об усечении формы именительного падежа в функции обращения. В большинстве случаев эти формулировки неотличимы, и обращение оказывается просто функцией формы именительного падежа. Однако в поддержку уточненной формулировки говорит возможность усечения тех форм, которые являются специализированными обращениями и для которых аргументная позиция невозможна или нехарактерна (обсуждавшиеся выше *кис* от *киса*, *Верунь* от *Веруня*). В таких случаях характеризовать форму как номинативную затруднительно.

Таким образом, речь идет не о нулевой морфеме (нулевой вокатив) и даже не об отсутствии морфемы как таковой (чистая основа), а о падении вокалического исхода падежной формы с ненулевым окончанием в контекстах определенного типа. Типологически факт усечения обычно доказывается тем, что данная операция работает не на морфологической, а на морфонологической структуре слова: усечение проходит не по морфемной границе и захватывает, например, конечный сегмент корня; в русском языке так устроены формы *па* и *ма*, также, вероятно, приводимый С. П. Обнорским диалектный пример *матуш* от *матушка* и некоторые другие. Статус нового вокатива в системе русского именного словоизменения оказывается в этом смысле типологически нетривиальным, так как, оперируя с морфонологической структурой слова (на это указывают обсуждаемые выше фонотактические ограничения на его образование), усечение в подавляющем большинстве случаев проходит по морфемной границе, мимикрируя под морфологический процесс. Можно сказать, что в своей конкретно-языковой реализации типологически аморфологичное усечение случайно проходит по морфемному шву.

В ходе эксперимента, описанного в (Князев 2004), выяснилось, что семеро из десяти испытуемых реализуют конечный звонкий как не полностью глухой (не звонкий, но и не глухой), а трое — как полностью оглушенный. Можно предположить, что ранее неоглушение было распространено шире⁶. Тогда оказывается, что

⁶ Эта гипотеза естественно вытекает из других наблюдений и, кажется, имплицитно разделяется некоторыми участниками дискуссии об усеченной форме. Однако для ее подтверждения необходимо проводить инструментальные эксперименты с но-

одна из трех важных морфонологических характеристик, ставящих новый вокатив вне падежной парадигмы (неоглушение в исходе слова), постепенно стирается, так что форма выравнивается под общие принципы русской морфонологии. Происходит постепенная интеграция формы нового вокатива в русскую словоизменительную систему. Иными словами, новый вокатив является не непадежом, а скорее недопадежом, то есть формой непадежного происхождения, подвергающейся постепенной морфологизации (ср. также (Corbett 2008) о неканонической падежности по этому и другим параметрам). И этому, вероятно, способствует «случайное» совпадение границы усечения с морфемной границей.

Относительно начальных этапов развития формы нового вокатива можно строить лишь гипотезы, так как никаких собственно фонетических данных на этот счет нет. Тот факт, что форма образуется только от лексем определенной фонотактической структуры, распространенных в функции обращения, и в орфографической записи передается усечением конечной гласной именительного падежа, позволяет предположить, что речь идет о взаимодействии интонации обращения с фонотактикой слова, приводящем к ослаблению (или иному изменению) конечной гласной. Это и есть первая интерпретация, обсуждаемая С. П. Обнорским. При этом ограничение на качество исхода слова остается непонятным. Почему отсекается лишь конечный *-a*? Существуют относительно устойчивые обращения с другими вокалическими исходами, например, *дети* или *бабы*, образование нового вокатива от которых не просто затруднено, но абсолютно невозможно⁷.

Прагматика усеченного обращения

Взаимосвязь между передаваемым регистром речи и возможностью употребления усеченной формы обращения отмечалась неоднократно, см., в частности, (Комри и др. 1996: 132). Усечения и сегодня совершенно исключены в формальной речи. Очень отчетливо регистровая специфика проявляется в крайне затрудненной сочетаемости усеченных форм с обращением на «вы». В собранных нами примерах из Корпуса такие контексты не встретились ни разу, хотя несколько случаев из живой речи нам все сителями разных возрастов. С. В. Князев придерживается осторожной точки зрения на возможность реконструкции фонетической эволюции нового вокатива. Существенно, что в некоторых из диалектных примеров Обнорский прописывает оглушение; впрочем, то, что он сохраняет звонкость в других, говорит скорее не о фонетическом расхождении форм, а о непоследовательности транскрипции его источников.

⁷ В (Зализняк 1992/2002) образование формы нового вокатива рассматривается как частный случай общего процесса падения конечных безударных, хотя он и не удовлетворяет основным условиям этого процесса: в новом вокативе исчезает целый морф и может появляться конечный кластер. Обсуждаемые в статье факты — поздняя документированность усеченного обращения; остаточное неоглушение; усечение (почти) исключительно первого заударного *-a/-* делают более вероятной трактовку такого усечения не как «исключительного» случая отпадения, а как независимого — вероятно, более позднего — фонетического изменения.

же известны. Сочетание двух этих типов обращения, как кажется, дает эффект полуигровой, нетривиальной характеристики межличностных отношений коммуникантов, подобный сочетанию обращения на «вы» с уменьшительными формами имен. Следующий ранний контекст косвенно отражает корреляцию между усечением и регистром:

- (8) *Поступил он ко мне года два назад, и целый год — я ему «вы», он мне «ты»; теперь уж и я ему говорю «ты» и зову Володей, а не Владимиром. Старик крепкий, красный, волосатый, и сапоги пуда два. Хвост моему Серому он подвязывает так долго и так старательно, что мне их обоих жалко — и его и Серого: зачем столько лишнего труда? — **Володь**, брось-ка ты эти штуковины, — сказал я ему как-то.* [С. Н. Сергеев-Ценский. Благая весть (1912)]

Другое, лексическое последствие этой специфики усечения можно проиллюстрировать наблюдением над полными и уменьшительными формами имен собственных. Усеченные формы от уменьшительных имен *Валя, Танюша, Лена* выглядят куда более естественно, чем от полных *Валентина, Татьяна, Елена*, которые практически не встречаются в Корпусе, кроме текстов самого последнего периода. Наличие формы типа *Елен* в позднейших образцах устного Корпуса можно интерпретировать либо как смещение границ использования усеченного вокатива, либо — и это кажется нам более правдоподобным — наоборот, как связанную с серьезной перестройкой речевого этикета в постсоветский период экспансию полных имен в качестве обращения в те ранее не характерные для них регистры общения, для которых усечение допустимо. В любом случае, в письменном виде следующий пример из Корпуса все еще «режет глаз».

- (9) *Светлан / ты уж давай гречку / Свет / да? А макарончики кому?.. А я уж макаронь!..* [жен 42, домашние разговоры (2006)]

Промежуточная между полными и краткими форма *Катерин* встречается хотя и относительно рано, но зато только в явных имитациях (речь кино, начиная с 1957 г.). Наоборот, усеченные формы от полных имен, которые не имеют конвенционализованного краткого коррелята (*Альбина, Жанна, Диана*), ощущаются как вполне нормативные, и в Корпусе встречаются, хотя и относительно редко, очевидно, просто по причине относительной редкости самих этих имен.

Интересна также морфонологически не вполне очевидная форма *Наталь* — несмотря на то, что она образована от полного имени, интуитивно она кажется вполне принадлежащей к «регистру усеченного обращения». В Корпусе она встречается лишь дважды, но в неимитационных текстах — в спонтанном диалоге (1990) и на Интернет-форуме (2004). Аналогичная по структуре, но на современный слух куда менее приемлемая форма *Марь*⁸ от *Марья* два раза встречается в подкорпусе худо-

⁸ Ср. также коррелят усеченных обращений — усечение имени в конструкции с отчеством, где *Марь* оказывается вполне допустимым (*Марь-Иванна*). Такие формы мы, впрочем, не рассматриваем, так как здесь усечение характерно не только для позиции обращения.

жественной литературы, причем очень рано (один из примеров, приведенный ниже под номером (12), является одним из первых усеченных обращений в Корпусе).

- (10) *Мотри, Марь, у меня: я ведь тихий-тихий, а не гляди, что в тряпочку помалкиваю: я ведь все-е вижу!* — Михайл... побойся-ка бога! [С. А. Клычков. Князь мира (1927)]

Нам не вполне очевидно, можно ли считать формы *Наталь* и *Марь* обычными усеченными обращениями и ставить их в один ряд с другими примерами нового вокатива; формально ближе к усеченному обращению приводимые С. П. Обнорским диалектные *Марьй*, *Аксиньй*.

История усеченного вокатива по письменным текстам Корпуса

Комри и др. (1994: 132) полагают, что, хотя усеченная форма обращения существовала еще до 1917 г., широкое распространение она получает лишь во второй половине XX века. Данные в (Obnorskiĭ 1925) этому не противоречат, т.к. Обнорский апеллирует в основном к диалектам. Для письменного языка это предположение в целом подтверждается корпусными данными, но первые примеры обнаруживаются заметно раньше, чем ожидалось, — в текстах третьей четверти XIX века:

- (11) *Вышел на дорогу, зарезал мужика проезжего, а у него-то и всего одна луковица. «Что ж, бать, ты меня посылал на добычу; вон я мужика зарезал и всего-то луковицу нашел». — «Дурак! Луковица — ан копейка, люди говорят. Сто души, сто луковиц — вот те рубль».* [Ф. М. Достоевский. Записные книжки. (1850—1881)]
- (12) *Эй, Марь! водки, живо... пирога сюды! Я вас!* — кричал хозяин, не выпуская мою руку⁹. [Ф. М. Решетников. Очерки обозной жизни (1867)]
- (13) *Глашь! А Глашь! Что ж чайку-то?* [Н. А. Лейкин. Кусок хлеба (1871)]*¹⁰
- (14) — *Не достанешь, тятя, моего жениха, — с улыбкой молвила Настя. — Кто таков?.. Сказывай, покаместь цела, — в неистовстве кричал Патап Максимыч, поднимая кулаки. — Христос, царь небесный, — отступая назад, отвечала Настя. — Ему обещалась... Я в кельи, тятя, иду, иночество приму.* [Мельников-Печерский. В лесах (1871—1874)]

Интересно, что в «Записках из мертвого дома» (1862 г.), где пример (11), повторяемый почти дословно, скорее всего вторичен по отношению к «Записным книжкам», обращение представлено в обработанном, «нормализованном» виде, уже в именительном падеже («батька»). В конце девятнадцатого — начале двадцатого века усеченные обращения начинают появляться несколько гуще: у Мамина-Сибиряка

⁹ Данный пример, как уже говорилось выше, нетривиален морфологически и требует дополнительной проверки.

¹⁰ Звездочкой помечаются примеры, источником которых не является Национальный корпус русского языка.

в 1896 г., Л. Толстого и Куприна в 1897 г., Арцыбашева в 1902 г., Серафимовича в 1906 г., Сергеева-Ценского в 1909 и 1912 гг., Замятина в 1913 г., Скалдина в 1917 г.

- (15) *Она боялась поднять глаза, когда входила в избу, где сидел с мужиками Спирька. Он тоже отворачивался от нее и только раз, когда они столкнулись на дворе, спросил: — Дунь... а Дунь? Ты не серчаешь на меня? У Дуньки точно что оборвалось внутри от этого виноватого голоса, каким заговорил с ней Спирька. Сердце так и захолонуло, как будто она полетела откуда-то с высоты. — Так не серчаешь, Дунь? — Што это и придумаешь, Спиридон Савельич... Посмеяться надо мной хочешь...* [Д. Н. Мамин-Сибиряк. Озорник (1896)]
- (16) [Петр] **Микит!**.. Не докличешься. Подите, что ль, кто из вас. **Акуль,** поди загощи. [Акулина] *Лошадей-то?* [Л. Н. Толстой. Власть тьмы (1887)]*

Однако в этот период усеченные формы еще встречаются в Корпусе у разных авторов одиночно — по одной у Достоевского, Мамина-Сибиряка, Л. Толстого, Куприна, два раза (в разных произведениях) у Сергеева-Ценского и А. Н. Толстого. Исключением на этом фоне выглядит Станюкович, у которого имена собственные в усеченной форме встретились в четырех произведениях почти пятьдесят раз (из них подавляющее большинство примеров из «Похождений одного матроса», 1900 г., причем почти во всех случаях, вне зависимости от произведения, это была форма *Вась*)

- (17) *Ариша улыбалась сквозь слезы и нежно шептала: — Доедай, **Вась,** жаркое... Доедай...* [К. М. Станюкович. Блестящее назначение (1907—1908)]

В ранний советский период — 20-е — 30-е годы — расширяется круг авторов, у которых встречается эта форма (Семенов, Иванов, Пильняк, Губер, Тынянов, Вересаев, Вагинов, Бианки), неоднократно у А. Н. Толстого и Н. Н. Лященко. Усеченные обращения часты у Горького и особенно характерны для языка Платонова.

- (18) — *Ты чего взарился? — спросил активист. — На тебе конфетку. Мальчик взял конфету, но одной пицци ему было мало. — Дядь, отчего ты самый умный, а картуза у тебя нету? Активист без ответа погладил голову мальчика; ребенок с удивлением разгрыз сплошную каменистую конфету — она блестела, как рассеченный лед, и внутри ее ничего не было, кроме твердости. Мальчик отдал половину конфеты обратно активисту.* [А. П. Платонов. Котлован (1930)]

К этому же периоду относится первое употребление усеченного обращения в нехудожественном контексте.

- (19) — *Как это — где я взялась? Ты же сама родила меня своими собственными руками. — Мам, из чего человеков делают? Что ли, из костев?* [К. И. Чуковский. От двух до пяти (1933)]

Ясно, что к двадцатым годам усеченная форма лишь входит в литературный язык. Поэтому следующие два примера, учитывая эпоху, к которой они относятся,

смотрятся смелой литературной игрой. При этом они вполне соответствуют современным им прагматическим коннотациям усечения, так как служат для передачи простонародной речи:

- (20) *Улицы, по которым они едут, беспокойны. Собираются кучки, на панелях застыли робкие одиночки. Куда-то во всю прыть бегут трое мастеровых, они не успели еще скинуть фартуки. — Сень, ты куда? — кричит встречный мастеровой, узнав приятеля. — На площадь, с царем воевать, — отвечает другой, веселый, и свищет. — Ну ты молчи, пащенок, — говорит ему вслед пожилой картуз, — мало тебя драли дома.* [Ю. Н. Тынянов. Кюхля (1925)]
- (21) *Толстой поднял глаза на царя. Петр кивнул. Палач шепотом сказал в темноту за столы: — Вась, Вась, поправее, в угольишке там склянка. Из темноты вышел круглолицый, с женственным ртом, кудрявый парень, бережно неся четырехгранную склянку с водкой. Вдвоем они запрокинули голову висящему, покопошились и отошли. Варлаам застонал негромко, почмокал, затем закрутил головой...* [А. Н. Толстой. День Петра (1918)]

Несмотря на то, что форма кажется характерной именно для новой советской литературы, отдельные примеры на усеченное обращение находятся даже у относительно консервативных авторов:

- (22) — *Сколько баб, девок! Вон Анютка, — чего лучше? Анютк, поди сюда, дело есть!* — крикнула она звонко. *Анютка, широкая и мягкая в спине, короткорукая, обернулась, — лицо у нее было миловидное, улыбка добрая и приятная, — что-то крикнула в ответ певучим голосом и заработала еще пуце.* — *Говорят тебе, поди!* [И. А. Бунин. Митина любовь (1924)]
- (23) *Да постой же, мама, постой же, — сказал он, — и опять стукнулся (на этот раз о полуоткрытую дверь, которая со звоном захлопнулась).* — *Это с ума можно сойти...* *Коленька, Коль...* [В. В. Набоков. Звонок (1927)]

Во второй половине 30-х и 40-х годах объем употребления усеченного обращения несколько падает. Снова появляется в русской прозе эта форма только в конце 50-х и особенно в 60-х годах — и начинает быстро распространяться. У Шукшина, вообще большого любителя усеченных обращений, мы находим пример «отрефлексированной» усеченной формы, которая выступает в качестве основы для словообразования:

- (24) — *Вань... — Не ванькай! Я ж за колхоз волнуюсь, а не... чего-нибудь. Мне тоже понять охота.* [В. Шукшин. Печки-лавочки (1970—1972)]

Ниже приводится статистика употребления усеченных обращений в Корпусе до 1990 г.¹¹ Всего за этот период удалось найти около 850 усеченных обраще-

¹¹ Как представляется, усеченное обращение в языке постсоветского периода надо изучать с привлечением Устного корпуса и других устных материалов, данных электронной коммуникации и т.п. Кроме того, в этот период вырастает частотность формы. Все это

ний (из которых в таблицу попали лишь около 700, так как периоды датировки для остальных слишком широки и не позволяют однозначно отнести их к одной из декад), из них 111 уникальных. При этом составные обращения (*Лень, а Лень*) и аналогичные конструкции считались одним вхождением, а усечения первого элемента в конструкциях с отчеством не считались, так как для них возможно и невокативное употребление. Примеры, взятые не из Корпуса (Толстой, Куприн и некоторые другие), в статистике не учитываются.

Первой строчкой в таблице дается характеристика общего числа вхождений на период, причем используется стандартная корпусная мера частотности — число вхождений на миллион словоупотреблений¹² (это позволяет учесть колебания объема подкорпуса от декады к декаде), а в скобках приводится абсолютное число вхождений.

Во второй строчке дано число уникальных усеченных форм, также сначала в отношении к миллиону словоупотреблений, а потом в абсолютной величине. Это позволяет нивелировать вклад в статистику тех произведений, в которых одна и та же усеченная форма употребляется очень много раз, как у только что упоминавшегося Станюковича в «Похождениях одного матроса» (1900) — тут новый вокатив встретился 41 раз, причем 39 раз употреблена форма *Вась*, в то время как во всех остальных произведениях того же периода усеченное обращение встретилось 15 раз (из них 6 в других произведениях Станюковича). Другой пример — это книги В. Осеевой «Динка» и «Динка прощается с детством», где форма *Лень* употреблена 123 раза.

В третьей строчке дается число произведений, в которых встретились формы усеченного обращения, сначала в пересчете на сотню произведений подкорпуса (аналогично числу вхождений на миллион словоупотреблений), затем в абсолютном измерении. В четвертой дается число авторов, которые использовали эту форму.

Статистика верхних строчек таит в себе некоторую опасность. Если мы измеряем просто соотношение числа вхождений к количеству словоупотреблений за декаду, мы можем не заметить, что сам характер художественной литературы изменился в пользу большей диалогичности. В принципе, для литературы двадцатого века этого нельзя априори исключить. Если авторы стали больше использовать речь персонажей, то увеличение числа усеченных обращений не обязательно означает экспансию самой формы — это экспансия диалога. Прямых способов измерить объем прямой речи в Корпусе нет. Поэтому в четвертой, пятой и шестой колонках приводятся косвенные оценки, основанные на частотности форм прошед-

делает корпусное исследование нового вокатива в современном языке задачей, заслуживающей специального исследования.

¹² В действительности приводимые нами значения нельзя трактовать именно как количество вхождений на миллион словоупотреблений. По всей вероятности, это пропорциональные искомым, но меньшие величины. Дело в том, что Корпус содержит некоторое количество документов с очень широкими рамками датировки, которые при расчете подкорпуса включаются в каждую декаду, с которой эти рамки имеют пересечение.

шего времени глагола *сказать* и частотности формы *говорит* (число вхождений на тысячу словоупотреблений), а также на частотности вопросительного знака (число вхождений на сто предложений Корпуса) — все эти показатели должны определенным образом коррелировать с увеличением доли речи персонажей.

Таблица 1

История усеченного обращения в художественном подкорпусе НКРЯ

	до 1900	1900-е	1910-е	1920-е	1930-е
всего	0,3 (5)	23,6 (56)	1,8 (4)	6,7 (45)	1,6 (10)
разных	0,3 (4)	1,7 (4)	1,8 (4)	3,9 (26)	0,9 (6)
текстов	0,3 (3)	3,0 (6)	1,3 (4)	3,7 (17)	2,3 (8)
авторов	3	4	4	17	5
<i>сказать</i> pst	2,5	2,8	2,7	2,9	2,7
<i>говорит</i>	0,7	0,5	0,6	0,6	0,7
?	11,4	9,1	10,4	8,9	9,2

	1940-е	1950-е	1960-е	1970-е	1980-е
всего	2,2 (11)	25,6 (118)	27,9 (158)	32,1 (186)	21,0 (115)
разных	1,0 (5)	3,3 (15)	5,5 (31)	7,0 (41)	5,8 (32)
текстов	3,0 (7)	6,9 (11)	10,2 (40)	6,8 (38)	5,3 (32)
авторов	7	10	20	20	22
<i>сказать</i> pst	3,0	3,2	4,0	3,6	3,0
<i>говорит</i>	0,7	0,5	0,7	0,7	0,8
?	9,6	9,8	10,9	12,1	10,9

Для начала отметим, что колебания показателей, выбранных нами в качестве индикаторов диалогичности, недостаточно велики для того, чтобы говорить о значимости этого фактора по сравнению с изменениями в интересующих нас верхних строчках. Поэтому поведение отношения числа различных усеченных форм к объему подкорпуса должно объясняться через историю этой формы. После своего появления в XIX веке она приживается у отдельных авторов и влечит такое маргинальное существование вплоть до 1920-х годов. На почве ранней советской литературы она чувствует себя очень хорошо, однако в 30-х и 40-х годах снова отходит на второй план и оживает уже в 50-х, снова немного отступая в 1980-х. (Впрочем, во второй половине XX века соотношение разных показателей запутанно и их интерпретация неочевидна.)

Попробуем проинтерпретировать эту динамику содержательно. Как видно из приведенных выше примеров, в начале своего существования формы усеченного обращения употребляются при передаче просторечия, крестьянской речи (именно таковы самые первые контексты — Мельников-Печерский, Достоевский, Мамин-

Сибиряк), у Станюковича в речи матросов и т. п. Показателен и сам набор лексем — *тятя, батя, Дуня, Микита, Акуля, Васена* (наряду, впрочем, и с более нейтральными *Вася, Ваня, Витя, Володя*). Собственно, вся работа (Obnorskij 1925) обсуждает только или почти только диалектные примеры. Показательно, что единственный известный нам контекст из Толстого (16) взят из пьесы «Власть тьмы», написанной для народного театра. В некоторых из приведенных примеров эта функция поддерживается дополнительными лексическими и иными средствами.

Следующий нейтральный в речевом плане, но достаточно ранний пример является скорее исключением:

(25) — *А знаешь, мам, — вдруг прервала общее молчание Евлалия, — я сегодня во сне видела двух негров: они проехали мимо нашего дома в автомобиле и раскланялись с нами. Евгения Александровна улыбнулась и переспросила: «Негров?» В столовую с шумом вбежали Алевтина и младший Никодим, и сон остался неразгаданным.* [А. Д. Скалдин. Странствия и приключения Никодима Старшего (1917)]

К исключениям также относится пример (23) из «Звонка» Набокова. Далее непросторечные контексты встречаются у Горького в 1920-х, Вагинова в 1930-х, Федина в 1940-х. К числу неочевидных случаев можно отнести несколько употреблений из «Белой гвардии» (*Никол* в явно дворянской среде), однако они оставляют место и для иных интерпретаций. Форма *Никол*, чаще всего выступая в контексте обращения, иногда используется и в обычной номинативной функции.

В целом просторечный колорит усечения в первой половине века очевиден. Кажется, именно с передачей простонародного языка рабочих, солдат, крестьян связано распространение формы в ранней советской литературе как средства опрощения текста. Очень ярко это играет, например, в прозе Платонова.

(26) *Кирей в мирные дни ходил на озеро охотиться из пулемета — и почти всегда приносил по одной чайке, а если нет, то хоть цаплю; пробовал он бить из пулемета и рыб в воде, но мало попадал. Кирей не спрашивал Пиюсю, куда они идут, ему заранее была охота постреляться во что попало, лишь бы не в живой пролетариат. — Пиюсь, хочешь, я тебе сейчас воробья с неба смажу! — напрашивался Кирей. — Я те смажу! — отвергал огорченный Пиюся.* [А. П. Платонов. Чевенгур (1929)]

Ту же нагрузку усечение имеет в прозе Шукшина и Белова, а также, например, в некоторых текстах Ковалева. Однако, в отличие от первой половины века, после «оттепельного возрождения» усеченное обращение начинают использовать для изображения устной речи пусть живые и разговорные, но «интеллигентные» и по преимуществу «городские» Корнилов, Сарнов, Окуджава, Искандер, Ерофеев, Драгунский, что, скорее всего, говорит о значительном расширении использования усечения в устной речи. Ср. следующие два примера:

- (27) *А Нюшка вон идет, дак глядеть-то любо-дорого. Все простенки в грамотах да в гербовых листах, и в дому одна с маткой. А вот хошь, сейчас привернем? Хоть сейчас и сосватаю! — А что, думаешь, сгузаю? — сказал Мишка. — Всуерьез тебе говорю. — И я всуерьез! — Мишк! да я... да мы... мы с тобой, знаешь?* [Василий Белов. Привычное дело (1967)]
- (28) *Он отозвался тусклым, без выражения, голосом: — Мам, не замечала ты, что в безличных предложениях есть безысходность? «Моросит». «Темнеет». «Ветрено».* [Георгий Полонский. Доживем до понедельника (1966—1968)]

С чем связана рецессия усечения в текстах 30-х и 40-х годов? Как кажется, здесь есть две вероятные причины. Во-первых, время экспериментальной прозы подошло к концу, она уступила место литературе с более жестко кодифицированным языком. Во-вторых, этот язык, претендовавший на реализм, на самом деле стал более выхолощенным, оторванным от действительности и, как одно из следствий, отошел от живой речи в передаче реплик персонажей; по той же причине не исключено, что усечения избегались, осознанно или неосознанно, как слишком сильные социальные маркеры. Обе гипотезы представляются возможными и должны быть проверены на других характеристиках художественного языка этого времени; отсутствие усечения у неофициальных писателей скорее говорит в пользу первой из них. Впрочем, эти гипотезы не исключают друг друга.

Сегодня усеченные формы кажутся уже совершенно нейтральными и никак специально не характеризуют социальный или иной бэкграунд персонажа; так, усеченная форма обращения встретила в Корпусе в нескольких неимитационных письменных текстах от первого лица (см. пример 1). Это также исключает всякую «художественную» интерпретацию: в подобных контекстах трудно говорить о том, что автор пытается выстроить (свой собственный) речевой портрет. Вся предыстория усеченных форм целиком ушла в регистровость — они характерны только для неформальной речи.

Форма нового вокатива как орфографическая конвенция

Несмотря на отсутствие детальных фонетических исследований, пока наиболее вероятным представляется происхождение усеченного обращения из формы именительного падежа. Аргументация С. П. Обнорского (Obnorskij 1925) в пользу теории чистой основы, равно как его возражения против усечения через редукцию, не кажутся вполне убедительными. При этом по сравнению с формой именительного падежа форму нового вокатива характеризует изменение количества (вплоть до полного исчезновения) и, возможно, качества конечной гласной, а также, в ряде случаев, качества последнего согласного. В орфографии этот процесс обозначает-

ся просто опущением конечной гласной *-a*. Таким образом, графическая норма различает две формы — полную (номинативную) и усеченную (вокативную).

Не вполне очевидно, однако, что формы обращения всегда принадлежали одному из этих полюсов. Устный корпус, ориентированный на орфографическую подачу языковых данных, не дает нам никаких сведений на этот счет — гласный либо присутствует, либо отсутствует, а это часто зависит от субъективных установок человека, который транскрибирует текст.

В собственно письменных текстах форма нового вокатива вполне кодифицировалась. Формы типа *nan*, *Саш* (т. е. те формы усеченного вокатива, которые наиболее распространены в Корпусе) не воспринимаются как графическая имитация устной речи; они являются полноправными, независимыми элементами грамматической системы письменного языка. Выскажем предположение, что это не всегда было так. Возможно даже, что графические усеченные формы и сейчас более независимы от формы именительного падежа, чем вокативное усечение в живой речи, которое может иметь градуальный характер. Форма номинатива в функции обращения размазана по «шкале усечения». С этим связаны сложности в изучении их взаимной дистрибуции — исходя из нашей гипотезы, по сути это не две формы, а шкала реализаций форм именительного падежа, которые в принципе не могут быть четко дистрибуированы друг с другом функционально. Иными словами, письменная речь провела водораздел и различила две формы, которые с фонетической точки зрения являются или в какой-то момент являлись разными реализациями одной и той же формы. Здесь нельзя полностью исключить обратного влияния письменной речи на языковую интуицию — сейчас формы *nan* и *nana* воспринимаются как разные формы и в устной речи, и свою роль здесь могла сыграть их кодифицированность в письменном языке. Именно поэтому наше рассуждение носит гипотетический, реконструктивный характер.

Если формы *nan* и *Саш* вполне кодифицированы, то в современных письменных текстах встречаются и такие примеры, которые несомненно воспринимаются как орфографическая имитация — *Са-а-а-ша-а* (они же используются и как неформальные обозначения долготы в транскрипции в Устном корпусе). Кажется, что и некоторые формы с усечением близки к такой имитации или, по крайней мере, не вполне конвенционализированы — например, *Татьян Николавн* или *Татьян Николаевна* (вхождение из Корпуса кино), для нас не полностью кодифицированы и некоторые формы с конечными кластерами (*Мишик*).

Тестом на графическую «грамматикализованность» может служить возможность использования той или иной формы во вложенном цитировании. Во всех встретившихся нам контекстах, где говорящий цитирует свой или чужой речевой акт, в Корпусе использовались усеченные обращения — те формы, которые мы сочли выше максимально кодифицированными (конечно, наравне с полными формами обращения), но не формы, которые воспринимаются как орфографические конвенции.

- (29) *А эта, лонись, приехал младший: поедем, говорит, тять, со мной. Продай, говорит, дом и поедем.* [Василий Шукшин. Живет такой парень (1960—1964)]
- (30) *А наутро — это мне мать его, Елизавета Прохоровна, рассказывала — наутро он выходит из комнаты, убитый как есть, смурый-смурый и говорит «Мам... ты мне дай еще одно одеяло...»* [Дина Рубина. День уборки (1980)]

Характерно, что в нашей выборке первой половины двадцатого века таких примеров, где бы персонаж использовал усеченную форму в передаче чужой речи, т. е. примеров, аналогичных (29) и (30), практически нет; известное нам исключение — это пример (8), и даже оно оставляет возможность иных интерпретаций (так как от первого лица ведется все повествование). Это можно считать хотя и слабым (из-за отсутствия широкой статистики), но все же указанием на то, что ранее они имели статус орфографических конвенций, аналогичный статусу современных написаний *ма-ам!*

При этом очевидно, что в устной речи, в отличие от письменного дискурса, фонетическая имитация чужого (или собственного) обращения вполне допустима. И хотя мы не можем утверждать, что такие формы в письменном тексте принципиально невозможны (например, когда цитируется только восклицание-обращение — *А он все кричит: «Ма-ам! Ма-ам!»*), тот факт, что такие контексты нам пока не встретились, говорит по крайней мере об их меньшей распространенности.

В связи с этими наблюдениями над письменным языковым узусом можно выдвинуть предположение о происхождении и эволюции усеченных форм обращения в письменной речи. На первом этапе своего существования, то есть в конце девятнадцатого и в самом начале XX века, эти формы могли восприниматься как орфографические имитации, как сейчас воспринимаются записи типа *Па-а-аи!* Далее, после долгого перерыва, они снова входят в письменный язык в 50—60-х годах и становятся все более и более кодифицированным «знаком» устной речи в письменном тексте, перестают восприниматься как имитация и становятся независимой от номинатива «письменной разговорной» формой обращения, а в последнее время проникают в нехудожественные письменные тексты.

Эта гипотеза совместима с нашими наблюдениями, согласно которым на ранних этапах усеченное обращение было характерно для контекстов, имитирующих фонетику просторечия — собственно, усечение являлось одним из орфографических средств такой имитации. Одним из сохраняющихся по сей день следов имитационной природы усечения может считаться то, что усеченные формы плохо представимы в переводном тексте: невозможно имитировать русскую разговорную речь при установке на описание коммуникации, происходящей не на русском языке. Если бы усечение являлось просто маркером устной речи, такие контексты были бы вполне допустимы.

Фонетическая эволюция самих устных форм могла тем временем идти своим путем. Возможно, процессы эти были как-то связаны между собой — кодификации

способствовало расширение узуса усечения в живой речи. Однако то, что формы реже встречаются в промежутке между тридцатыми и пятидесятыми годами, свидетельствует о том, что эволюция усеченного вокатива в письменной и устной речи шла относительно независимо.

Заключение

Итак, мы увидели, что форма усеченного обращения, впервые появляющаяся в Корпусе во второй половине XIX века, исходно отчетливо тяготела к контекстам, передающим простонародную, крестьянскую речь, что, по-видимому, отражало ее диалектный источник. Именно простонародный, живой характер усечения может объяснить его быструю экспансию в ранней советской литературе, короткий спад в конце тридцатых и сороковых годах и возрождение в прозе писателей-деревенщиков в шестидесятых-семидесятых годах. Однако уже в шестидесятые годы усечение начинает проникать в язык «интеллигентной» прозы, что означает либо расширение его устного узуса, либо его письменную кодификацию — вероятнее всего, и то и другое одновременно. В современном языке от исходного простонародного содержания формы осталось лишь регистровое значение неформальности и прагматика малой личностной и/или социальной дистанции между собеседниками.

Опираясь на простонародность как отправную точку эволюции этих форм в письменной речи, мы высказали предположение, что в начале своего существования они могли восприниматься не как специализированные грамматические формы, а как имитация фонетических особенностей устных форм обращения. О точной природе этих фонетических особенностей мы можем лишь догадываться по их графической передаче; вероятно, интонация обращения вызывала количественное изменение гласной конечного слога номинатива в словах определенной фонотактической структуры (типологически конечное усечение для вокативов очень характерно), что на графике обозначалось опущением конечной гласной.

Постепенно, однако, происходила кодификация этих форм на письме. Из *написаний* они становились *формами*. В первую очередь при этом кодифицировались усеченные формы тех слов, для которых характерно использование в позиции обращения, другие формы и сейчас могут восприниматься как орфографическая игра (*псин, собак* и т. п.). В связи с этим можно высказать предположение, что, по крайней мере до некоторого момента в эволюции этих форм, усеченная и неусеченная форма не были вполне четко отграничены друг от друга, в живой речи они образовывали континуум (подобно тому, как образуют континуум продленные обращения, передаваемые в современной графике удвоенными, утроенными и так далее дефисными написаниями гласных и ни в коем случае не воспринимаемые как особые грамматические формы — *na-a-an!*).

Усеченное обращение лишь постепенно интегрируется в грамматическую систему русского языка, что согласуется с гипотезой о диахронически постепенном «оглушении» конечных звонких. Такой континуальной предысторией формы можно объяснять и абсолютную заменимость усеченной формы на полную во всех известных нам контекстах (обратное неверно). Будучи по сути одной и той же формой, усеченное и неусеченное обращение, в сознании современного носителя — или по крайней мере лингвиста — уже вполне обособившиеся, еще не успели разойтись функционально. Изучение направлений, в котором происходит дивергенция, требует обращения к материалу современной устной речи (например, к подкорпусу устной речи Национального корпуса русского языка) и выходят за рамки настоящей статьи.

Автор признателен Н. Р. Добрушиной, В. А. Плунгяну, С. С. Саю и Э. Спенсеру за комментарии к предварительным вариантам этой статьи.

Литература

- Виноградов и др. 1954 — В. В. Виноградов, Е. С. Истрина. Грамматика русского языка. М.: АН СССР.
- Дурново 1924 — Н. Н. Дурново. Очерк истории русского языка. М.-Л.
- Зализняк 1992/2002 — А. А. Зализняк. Правило отпадения конечных гласных в русском языке. // Русское именное словоизменение. М.: Языки славянской культуры.
- Князев 2004 — С. В. Князев. Об иерархии фонологических правил в русском языке (несколько новых соображений по поводу *язв* А. А. Реформатского). // Семиотика, лингвистика, поэтика: к столетию со дня рождения А. А. Реформатского. М.
- Корпус — Национальный корпус русского языка: www.ruscorpora.ru.
- Панов 1997 — М. В. Панов. Фонетика. В. А. Белошапкова (ред.) Современный русский язык. М.: Азбуковник.
- Шведова и др. 1980 — Академическая грамматика русского языка. Н. Ю. Шведова (ред.). Т. 2, ч. 2. М.: Наука.
- Comrie et al. 1996 — B. Comrie, M. Polinsky, G. Stone. The Russian Language in 20th century. Oxford: Clarendon Press.
- Corbett 2008 — G. Corbett. Determining morphosyntactic features: the case of case. G. Corbett and M. Noonan (eds.) Case and grammatical relations. Studies in honour of Bernard Comrie. Oxford: Oxford University Press.
- Obnorskij 1925 — S. Obnorskij. Die Form des Vokativs im Russischen. *Zeitschrift für Slavische Philologie*, Bd I.
- Spencer, Otaguro 2005 — A. Spencer, R. Otaguro. Limits to case: a critical survey of the notion. M. Amberber, H. de Hoop (eds.) Competition and variation in natural languages: the case for case. Amsterdam: Elsevier.
- Yadroff 1996 — M. Yadroff. Modern Russian Vocatives: a Case of Subtractive Morphology. *Journal of Slavic Linguistics* 4.
- Zwicky 1974 — A. Zwicky. Hey, what's your name! M. La Galy, R. A. Fox, A. Bruck (eds.) Papers from the Tenth Regional Meeting of the Chicago Linguistics Society. Chicago: Chicago Linguistics Society.